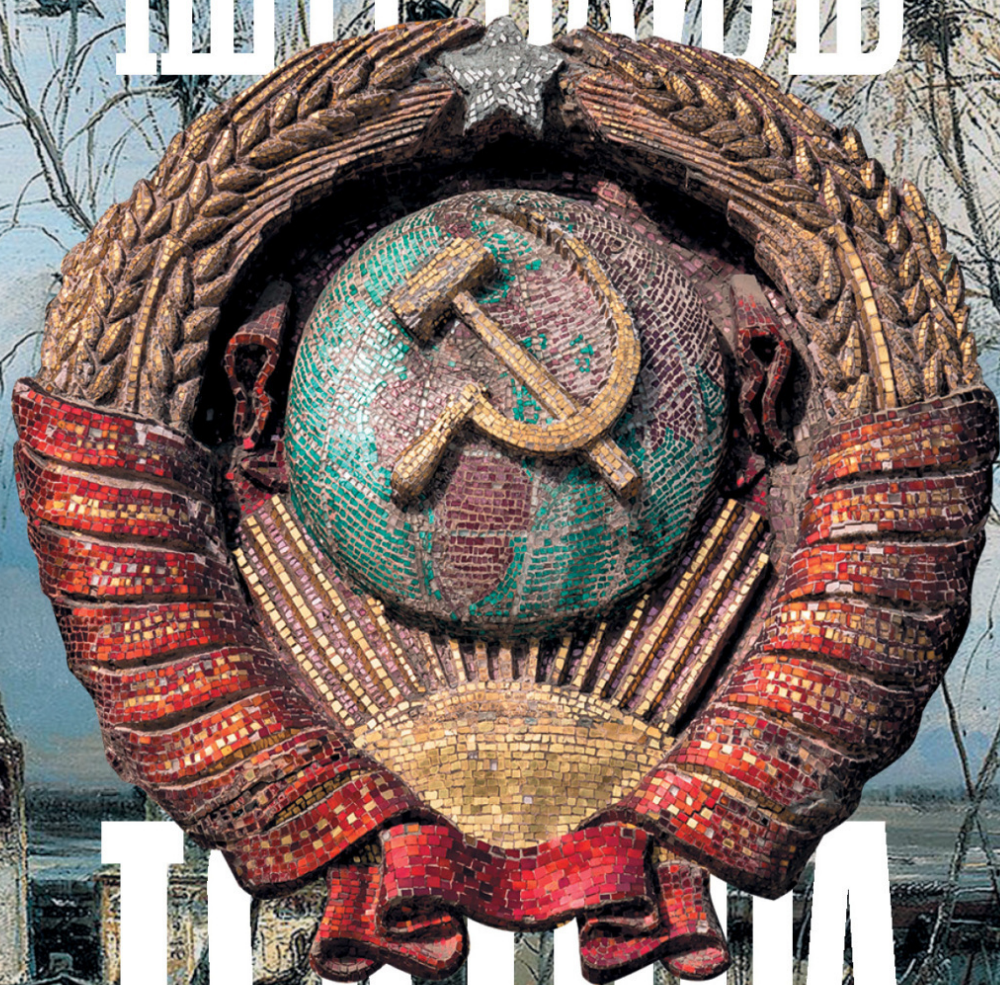


ПЕТР ВАЙЛЬ



CoRpus

И СЛОВА
ВАРТА
РОДИНЫ

Петр Вайль
Карта родины

«Corpus (АСТ)»

2009

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Вайль П. Л.

Карта родины / П. Л. Вайль — «Corpus (ACT)», 2009

ISBN 978-5-17-137776-2

Петр Вайль (1949–2009) – известный журналист, писатель, один из основателей жанра русской послевоенной эссеистики, автор книг “Гений места”, “Стихи про меня”. Так же, в соавторстве с А. Генисом, им написаны “Родная речь”, “Русская кухня в изгнании” и др. Петр Вайль эмигрировал из СССР в 1977 году и жил за границей до конца жизни. “Карта Родины” – сборник эссе о его путешествиях по стране, в которой он родился и которой уже больше не существует. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-17-137776-2

© Вайль П. Л., 2009
© Corpus (ACT), 2009

Содержание

К новому изданию	5
О вечном и личном	6
Европейская часть	7
Трамвай до Мотовилихи	7
Макарьевская ярмарка	10
Абрау-Дюрсо	13
До Вытегры и после	15
Фирменный поезд «Ярославль»	19
Иммануил Кант	21
Семья Ульяновых	23
Джон Григорьевич	27
К Леонтьеву по Жиздре	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Петр Вайль

Карта родины

К новому изданию

Поскольку в основе книги – живые впечатления 1995–2002 годов, при подготовке нового издания необходимо было убедиться, что впечатления живы. Что прибавленные главы, по следам, например, поездки в Болдино и путешествия на Камчатку, не выделяются из общего текста. Убедился. Правда, прошедшие годы, с середины 90-х считая, – срок исторически ничтожный, но правда и то, что на переломах год может идти за пять. Нет, сейчас темпы перемен не так драматичны. То есть драматичны, конечно, но по-другому.

С особым пристрастием перечел главу о Чечне. Вторая война отличалась от первой решительно. Появился религиозный, исламский, фактор, практически не существовавший в 90-е. Во многом война превратилась в гражданскую. Невероятно ужесточились методы борьбы со всех сторон. Если захват буденновской больницы можно было счесть военной диверсией, то “Норд-Ост” и бесланская школа – беспримесный терроризм. Но если в Буденновске с командиром диверсантов вел переговоры премьер-министр, пытаясь спасти жизни мирных людей, то на Дубровке и в Беслане своих убивали свои – походя, по известному принципу “лес рубят – щепки летят”. Страна легко вернулась к привычному (средневековому) пониманию: великая держава не та, которая обеспечивает хорошую жизнь своим, а та, которая убивает как можно больше чужих. И когда по пути попадаются под руку свои – значит, им не повезло. Война становится состоянием жизни, перестает замечаться, банализируется. В главе о Чечне, о Первой чеченской войне, эти мотивы услышаны и изложены.

На протяжении XX и начала XXI веков Россия оказывалась очень разной. В Российской империи было заложено многое из того, что потом большевики с легкостью воплотили в жизнь. Но, тем не менее, в десятилетие перед Первой мировой в стране наглядно складывались общественное сознание, общественное мнение, общественный этикет – те неписанные правила, без которых не может существовать ни один социум. Которые так и не вошли в жизнь, которых остро не хватает в сегодняшней России. Правда, и писанные законы не соблюдаются.

Нынешняя страна – причудливая смесь из 90-х, когда наметился путь к цивилизованной норме, и прежних советских времен. Нельзя не замечать расцвета предпринимательства, но и кукольного парламента и обилия изображений первого лица. Свобода передвижений по миру и невиданное разнообразие бесконтрольного книжного рынка сочетаются с удручающе знакомым единообразием телеканалов и журналистской самоцензурой.

Общественная гармония наступает тогда, когда совпадают или хотя бы сходятся близко четыре основных социальных понятия:

- а) страна,
- б) народ,
- в) культура,
- г) государство.

В России эти категории никогда не смыкались и пока не смыкаются никак, существуют параллельно и часто просто вопреки друг другу. Родину по-прежнему можно любить и трудно уважать.

Январь 2007

О вечном и личном

Я родился в первой половине прошлого века. Так выглядит 1949 год из нынешних дней. Так время помещает тебя без спросу в эпос. Пространство – в историю. Москвич-отец с эльзасскими корнями и ашхабадка-мать из тамбовских молокан поженились в Германии, я родился в Риге, много лет прожил в Нью-Йорке, эти строки пишу в Праге.

Важно, что все происходит почти без твоего участия. Людей можно разделить на тех, которые живут, и тех, которые строят жизнь. Я отношусь к первым. Больше того, люди, строящие жизнь, вызывают недоверие: за ними кроется неуверенность и неправда. И еще – наглость: попытка взять на себя больше, чем человеку дано. Стоит раз и навсегда понять, что жизнь умнее и сильнее тебя. Ты только можешь в силу отпущенных тебе возможностей что-то слегка подправить, но полагать, что способен определить ход своей судьбы, – необоснованная дерзость.

Масштабный пример явлен был календарем. Человечество умудрилось устроить встречу тысячелетия дважды. Сначала объявили, что новая эпоха грянет 1 января 2000 года. Потом решили отпраздновать еще раз, по-настоящему, 1 января 2001 года. Однако на вторую полноценную гулянку энергии не хватило. Современный человек оснащен разнообразно и мощно, но в сути своей уязвим и слаб, ничуть не прибавив по ходу истории эмоционально, душевно, интеллектуально. Мы не выдерживаем даже двух подряд больших праздников, которые сами же придумали и назначили. Если на радости недостает сил, может, и на злодеяния не хватит?

У меня ощущения смены эпох не было и нет, не увлекаюсь цифрами. Если уж подводить итоги столетия, главным представляется не событие, не факт и не дата, а дрящущее отторжение от какой бы то ни было единой доктрины, общей идеологии, маршировки строем. Никакого хорового пения – только сольные партии: даже если нет слуха и голоса, голова работает и сердце бьется.

Однако массовый психоз по поводу миллениума радует: убедительный пример торжества формы над содержанием. Ведь ровным счетом ничего не произошло, когда 1999-й сменился 2000-м, 2000-й – 2001-м. То и замечательно, что поменялось лишь начертание: единица-двойка, девятка-ноль – но сколько волнений, каков восторг и ужас. Наглядная победа иррационального чувства над рациональной мыслью.

В формуле Достоевского «красота спасет мир» речь как раз о том, что красота спасет мир от разума. Внедренные в практику попытки устроить жизнь по логике и уму неизменно приводят в тупик в лучшем случае; в худшем – к магаданам, освенцимам, хиросимам, чернобылям на массовом или личном уровнях. К счастью, сокрушительный разум корректирует красота – неведомая, неисчислимая, непостижимая сила, которая побуждает не строить жизнь, а жить.

Жить – и делиться наблюдениями, впечатлениями, соображениями по ходу жизни. Без претензий, а так, как сказал Басё: «Видя в этом один из способов уподобиться облакам и подчинить себя воле ветра, начинаешь записывать все, что остается в твоей памяти, собираешь воедино случившееся позже и происшедшее раньше, полагая при этом, что люди, принимая твои записи за невнятное бормотание пьяного или бред спящего, отнесутся к ним не всерьез, а как придется».

Наблюдения, впечатления, соображения нескольких лет (1995–2002) на пространстве от Белоруссии до Сахалина, от Соловков до Каракумов переплелись с долгим опытом жизни в империи – моей семьи и моим собственным. Так сложилась и легла «Карта родины».

Европейская часть

Трамвай до Мотовилихи

Прямоугольная планировка сразу обозначает умышленный город. Красота здесь лишена очарования естественности, как жизнь по приказу. Приказом царицы Пермь назначили городом, и она стала обзаводиться не историей, которой не было, а мифологией, которая есть всегда, если есть желание. Трамвай номер четыре по пути от ЦУМа к цирку и дальше на Мотовилиху проходит над Егошихинским оврагом – отсюда, от заложенного здесь медеплавильного завода, и пошла Пермь. Сейчас это особая центровая окраина, сдвинутая не по горизонтали, на край, а по вертикали, вниз. Провожатый кивает на овраг: «Вон там, за кладбищем, речка Стикс». Законная гордость: где еще на свете есть Стикс? На этом – нигде. Над Егошихой – трамплин, прыжки бесстрашно совершаются в долину реки смерти, а там шпана.

Из трамвая жизнь вокруг видна сквозь чужую мудрость: окна в общественном транспорте мэрия украсила изречениями великих. Имеются муниципальные афоризмы для детей: «Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое. *В. Белинский*». Для родителей: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. *Н. Карамзин*». Для школы: «Лень – это мать. У нее сын – воровство и дочь – голод. *В. Гюго*» – с категорией рода не все ладно, но изъяны грамматики искупаются дидактикой.

Двое в солдатских ушанках не обращают внимания на заповедь: «Судите о своем здоровье по тому, как радуется утру и весне. *Г. Торо*». Во-первых, уже полчетвертого, во-вторых, снежная зима, в-третьих, о здоровье проще судить по цвету и запаху друг друга, в-главных, увлечены разговором. «Я его еще поймаю», – угрюмо обещает один. Второй кивает: «Даже двух мнений быть не может. Ну, даже двух мнений быть не может». Первый воодушевляется: «Я его еще поймаю. Убью обоих». Слова звучат громко и веско, пассажиры ежатся и отворачиваются к окнам. «Из всей земной музыки ближе всего к небесной – биение истинно любящего сердца. *Г. Бичер*». Та, что ли, Бичер, которая Стоу? Дяди Тома в четвертом трамвае только не хватало.

Хижины обступают Уральскую улицу, сменяя блочные и кирпичные дома. Трамвай идет вдоль реки, спускаясь к ней. Если выйти, с высокого еще берега видна широченная Кама, за ней – Верхняя Курья, далеко слева скрыт за излучиной Закамск, по здешней мифологии – потустороннее место, вот и не видать. Спуск делается круче, тут полудеревянная старая Мотовилиха, которая завораживала с той стороны Камы пастернаковскую Женю Люверс.

«Доктор Живаго» разместился в центре Перми, переименованной Пастернаком в Юрятин. На нарядной Сибирской – «Дом с фигурами» и библиотека на углу Коммунистической, где встретились Живаго и Лара. И – удвоение культурного мифа – дом «Трех сестер», о чем рассказывают в Юрятине доктору. Здание пестренько выложено красным и белым кирпичом, здесь теперь «Пермптицепром», порадовался бы реалистичный Чехов. На Сибирской – и длинный низкий дом, в котором провел юные годы Дягилев, и губернаторский особняк желтоватого ампира, каков обычно ампир в России, и Благородное собрание с плебейски приземистыми колоннами, ныне клуб УВД, и в глубине парка Театр оперы и балета, где к пермским морозам бергамаск Доницетти подгадал «Дона Паскуале» (Пермь – Бергамо или, еще лучше, Пермь – Парма: насторожись, краевед), и среди многоэтажек новенький Пушкин с нашлепкой снега на цилиндре. Мимо тянется троллейбус номер три, желто-зеленый, с алой надписью «Лапша Доширак» – не секундант ли Дантеса?

Сибирская проходит сквозь центр по бывшему каторжному этапу от Камы до Сибирской заставы. Раньше она была Карла Маркса, почему-то из всех новых-старых героев пострадал один Маркс. Володя Абашев, автор отличной книги «Пермь как текст», рассказывает, что неко-

гда улицы, выходящие к Каме, носили названия уездов (Чердынская, Соликамская, Ирбитская), вписывая город в край. Теперь они – Комсомольский проспект, улицы Куйбышева, 25 Октября, Газеты «Звезда», а Сибирская одинока в окружении Большевистской, Коммунистической, Советской. Контекст поменялся, обновились коды. На высоком холме над Мотовилихой – мемориал 1905 года в виде парового молота.

Внизу – старинные мотовилихинские оружейные заводы. Шоу-рум под открытым небом – скорее шоу-двор – с изделиями пермских мастеров. Занесенные снегом орудия и пусковые установки выглядят брошенными в повальном бегстве – так отчасти и есть. Двадцатидюймовая «Уральская царь-пушка» с ядром в полтонны. Самоходка «Акация», гроздь душистые. Самого плодovitого конструктора зовут Калачников – никак брат-близнец. В центре города в бывшей духовной семинарии – ракетное училище: горние выси остаются под контролем.

Плетение мифологической ауры увлекательно и неостановимо. Вряд ли имели в виду нечто значительное екатерининские шутники-интеллектуалы, когда назвали Стиксом ручей в Егошихинском овраге. Но в мифе каждое лыко в строку. Он выручает в тяжелые времена, работает на самоутверждение, ослабляет всероссийский комплекс столицы, приглушает стон пермских сестер: «В Москву! В Москву!»

Пермь как сандвич: снизу – невесть какая память о Перми-Биармии, куда викинги ходили за невестами (российское хрестоматийное утешение: самые пригожие у нас); сверху – трогательная смешная всемирность с Сенекой и Леонардо на трамвайном стекле; между – та непридуманная жизнь, которая течет двадцать четыре часа в сутки триста шестьдесят пять дней в году.

По пути из аэропорта, за деревнями Крохово и Ванюки, справа долго виден нефтеперерабатывающий завод – источник существования. На придорожном плакате: «Оксфорд – побратим Перми». Повезло Оксфорду – побрататься с первым европейским городом. «Европа начинается в Перми» – лозунг с напором, исключая законный, но нежелательный вариант: «Европа кончается в Перми». Откуда смотреть. Как утверждает популярный в здешнем общественном транспорте автор, «в конце концов люди достигают только того, что ставят себе целью, и поэтому ставить целью надо только высокое. *Г. Торо*». Мифотворчество как способ выживания – вызывает уважение.

Здесь много всероссийской мешанины: кафе-бар «Кредо», магазин «Ком или фо», фестиваль «Мини-Авиньон», призыв «требуется повар для изготовления пельменей на конкурсной основе». Но много подлинного своего, не только умозрительного, но и того, что можно потрогать, увидеть, восхититься. Таково явление пермской деревянной скульптуры XVIII века. Местные резчики подправили облик Христа по своим идолам, создав редкой силы образ Спасителя с плоским скуластым лицом и широко расставленными раскосыми глазами. Почти кощунственное распятие: маленький, корявый, руки разведены в жесте недоумения. Домашний полуязыческий Никола с выпуклыми складками на лбу держит город, прикидывая вес на ладони. Статичные фигуры замерли в причудливых позах: в опасном наклоне вперед с какой-то чуть не удочкой в руках; с поднятой будто для голосования рукой и выражением полной готовности. До обидного недавно эти шедевры стали робко внедряться в мировой обиход. Слишком свое, чересчур вещественное: не викинги, не пермский геологический период, не центр мира и начало Европы. И легко догадаться, что в собрании Пермской художественной галереи всегда, особенно зимой, куда бóльшим успехом пользовались «Римские бани» Федора Бронникова, где эта на переднем плане в одних лиловых тапочках.

Лиловый негр в красной жилетке неподалеку от Спасо-Преображенского собора, где размещен музей, приглашает в заведение «Солнечный блюз». Здесь, на Комсомольском проспекте, в мороз – негр из фанеры, другой бы не выдержал.

Мороз обрушивается на город ночью, внезапно, в обход прогнозов. С утра по телевизору рассказывают о технике безопасности при снятии сосулек. После обеда становится чуть

легче: пошел снег – все гуще, крупнее. Молодая кондукторша подмигивает, кивает на заднюю площадку и громким шепотом говорит: «Уже третий сегодня». Видя недоумение, поясняет: «Мороженое в минус двадцать пять, я бы с ума сошла!» Мужчина с эскимо, шевеля губами, дочитывает надпись: «Истинный показатель цивилизации не уровень богатства и образования, не величина городов и количество урожая, а нравственный облик человека, воспитываемого страной. *Р. Эмерсон*» и выходит с мороженым из трамвая, сразу пропадая в снежной завесе. Бабка с картошкой в авоське вглядывается в стекло: «Землепашец, стоящий на своих ногах, гораздо выше джентльмена, стоящего на коленях. *Б. Франклин*». Снег идет густо-густо, едва угадываются дома Мотовилихи. Старуха боится пропустить остановку, разворачивается и глядит в окно напротив: «Умственные наслаждения удлиняют жизнь настолько же, насколько чувственные ее укорачивают. *П. Буаст*». Старуха вздыхает.

Макарьевская ярмарка

Макарьев встает из волжских вод постепенно – шатровая колокольня, купол Троицкого собора, кресты Михайло-Архангельской церкви, потом уже и длинные белые стены. Плоской земли не видно, и долго монастырь кажется растущим прямо из воды. Завораживает так, что не верится, и радостно оттого, что не верится. Теплоход идет медленно, почти бесшумно, ощущение чуда не нарушается ничем. И никем: даже досадно, после первого потрясения хочется поделиться, но на всех трех палубах «Александра Суворова» пусто. Последние разошлись перед рассветом, на траверсе Сциллы-Харибды посильней Одиссеевой: по правому борту – Ленинская Слобода, по левому – Память Парижской Коммуны.

Ночью про Коммуну тоже никто не желает слушать, все о своем, одно слово – артисты. «Я, старик, хочу тут человеческую красочку добавить. Понимаешь, человеческую красочку. – Ты молодчинка! Пошли, за тебя выпьем». Крупная пожилая женщина горестно делится: «Я только раскатала хобот, а они говорят – пробы кончились». Администратор из бывших дипломатов прижимает кого-то к борту: «В то время, доложу я вам, наблюдалась пауза в политическом диалоге. Повестка дня отношений была несколько укороченная. – Типа херовые отношения? – Типа того». Актер с популярным лицом в центре кружка рассказывает: «В Тюмени аншлаг! В Сургуте аншлаг! В Ханты-Мансийске аншлаг! В Челябинском политехе слетела крыша!» Кружок повизгивает.

Десант с Московского кинофестиваля, отгуляв в Нижнем Новгороде – завтрак в «Колизее», Кремль, встреча с земством, домик Каширина, – с вечера держит курс на Макарьевский монастырь. В салоне и на палубе накрыты столы, поют попеременно казаки и цыгане, легко и властно командует режиссер-лауреат, рядом – кудрявый губернатор в джинсах.

Теперь все спят. «Суворов» тычется в причал под монастырскими стенами. Видно, как слева на берегу натягивают брезент над длинными столами. Поодаль котлы, ящики, пестрые колонны, которые оказываются стопками хохломских мисок. Задумана стерляжья уха с водкой. Ложки, миски, стаканы – все хохломское: нарядное, неудобное. Спецпартия деревянной посуды доставлена из Семенова, стерлядь поймана на месте.

Звучит бодрая радиопобудка: «Негаснувший очаг веры, жемчужина русского церковного зодчества...». Опухшие киношники сходят по трапу, хмуро косясь налево: до ухи еще экскурсия по монастырю. Томительный час духовности – и все гурьбой, во главе с лауреатом, бредут к воде, сгоняя с привычного места стадо коров.

Из утлой деревеньки, некогда богатого села, одно время даже города, тянется поглазеть народ. Под угловой башней – компания: в ранний час уже две пустые бутылки. Глаза круглые: «Скажите, а в косынке, значит, сама вот эта? – Сама, сама. – Ух ты, простая какая». Захлебываясь, рассказывают, что приехали в выходной просто посидеть («тут, знаете, душевно»), а вдруг такое: «Мы не местные, вот повезло. Мы вон оттуда». Карта изучена, можно щегольнуть: «Из Лыскова, что ли?» Пунцовеют от смущения: «Ну что вы, Лысково – большой город, мы с Красненькой».

Охрана помогает размещаться. Сама садится вчетвером на отшибе, розой ветров глядя на все стороны. У одной лишь охраны гладкое лицо, твердая походка, внимательный глаз. Она единственная в белой рубашке и галстукке среди маек, шортов, джинсов. Она вежлива и настойчива: «Зачем вам с иностранцами? Вы, пожалуйста, сюда» – и усаживает за стол клира. Во главе игуменья, молодой отец Кирилл, церковные чины помельче, из киношных – питерский сценарист, с храпом засыпающий после тоста.

У отца Кирилла ухоженная борода, изящный наперсный крест. Под локтем – синяя клеенчатая папка, которую по приказу игуменья он то и дело подсовывает на соседний стол губернатору. Тот, веселый и расслабленный, усмехается, но подписывает монастырские потребности.

Отец Кирилл пьет в четыре приема: подняв расписной деревянный стакан, озирается, хотя начальница вдохновенно багровеет рядом, прикрывает папкой крест, опрокидывает и, выдыхая, прижимает клеенку к губам.

У воды цыганский хор чередуется с казацким. Лауреат с одними поет про шмеля, с другими – истошную волнующую песню. Казаки перетаптываются, шашки путаются в ногах, из-под фуражек висят потные чубы. Они дико вопят, вроде вразной, но мелодия строится, равняется, набирает скорость и мощь, разворачивается лавой. Слов не разобрать, только рефрен, мотающий душу: «Не для меня! Не для меня-я-я-я!!!»

Застольное производство в работе: цвета побежалости игуменьи, рокот сценариста, четырехтактный двигатель отца Кирилла. Он достает из-под рясы баночку соленых грибов, важно говорит: «Лучшее послушание – грибы собирать» и снова прячет. Он здешний уроженец и рассказывает о святости мест. К северу – озеро Светлояр, куда опустился Китеж. «Китеж знаю! – просыпается сценарист. – Знаю! Китеж и эта, Хавронья». Хохочет, а отец Кирилл мелко крестится и говорит с укоризной: «Феврония, дева Феврония, зачем же вы так, ведь заслуженный деятель искусств, мне говорили». Нервно выпив под клеенку, продолжает о том, что километрах в пятидесяти отсюда к югу – родина протопопа Аввакума, в селе Григорове за речкой Сундовик. А километрах в двадцати оттуда, ближе к речке Пьяне, в Вельдеманове родился патриарх Никон. Голос отца Кирилла возвышается: «Так управил Господь, что два неистовых противоборца по соседству на свет появились». Один из мелких чинов солидно добавляет: «Вельдеманово – это Перевозский район, а Григорово совсем нет – Большемурашкинский». Сценарист снова просыпается и снова хохочет: «Вот какие большие мурашки бывали у нас в губернии!» Верно, нынешние куда мельче, да и кто в русской истории крупнее равных яростей Аввакума и Никона? Сценаристу больше не подносят, он уходит, бубня о ярмарке тщеславия и поминая классика: «Пушкин все про вас сказал».

Сценарист постоянно пьян, но образован. Пушкин в «Путешествии Онегина» задевает Макарьевскую ярмарку: «Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух». В то время ярмарка уже переместилась в Нижний – после пожара 1816 года, уничтожившего ряды и павильоны здесь, у Макарьева, при впадении Керженца в Волгу, – но название оставили прежним. Макарьев перенес это, как пережил взятие монастыря разинским атаманом Осиповым, наводнения, удары молний, попытку упразднения и сноса – за полвека до большевиков, а при них – детский дом, госпиталь, зооветеринарный техникум.

Сейчас тут женская обитель, и монахиням дано послушание вести экскурсию для фестивальных гостей. Одна юная, вроде хорошенькая, киношники пытаются заглянуть в лицо, но голова опущена и платок надвинут. Внезапно, указывая на кресты, она делает слишком резкое движение, выбиваются светло-русые волосы, видны глаза неправдоподобной величины, глубины, тайны, куда Светлояру. Оператор в подтяжках тихо говорит: «Ты видел? Ты когда-нибудь видел такое? Пойдем отсюда, там уже наливают».

Наливают обильно, и почти никто не замечает, как под барабаны выходит из реки морской бог Нептун. Он точь-в-точь отец Кирилл, только борода не каштановая, а зеленая. Нептун набрался уже где-то на дне, его держат под руки две шалавы в прозрачном – русалки. Казаки подхватывают трезубец и изображают рубку лозы, цыгане трясут серьгами и бубнами, Макарьев нависает и звонит над шабашем.

Московская киноведка, сомлев от ухи и благости, хочет креститься – здесь и сейчас. Клир воодушевлен, но она вдруг отказывается. Охваченная теперь языческой идеей, бежит в стадо надевать коровам хохломские стаканы на рога. Отец Кирилл взывает: «Тань, ну покрестись, ну что тебе стоит!» Игуменья, достигшая пламенной багряности, молчит. Гудит «Суворов». Лауреат выходит на кромку берега – последний тост и последняя песня.

Несообразная ни с чем вокруг, взмывает бешеная аввакумовско-никоновская страсть – давно забытая здесь, лишняя, чужеродная. Душераздирающий вопль ударяет в монастырские

стены, летит над куполами и котлами, над стерлядями и блядьми, над испуганным стадом, над пьяным людом, над долгой Волгой, над золотой хохломой: «Не для меня! Не для меня-я-я-я!!!»

Абрау-Дюрсо

Долго казалось, что нет такого места – Абрау-Дюрсо, как нет других столь же волшебных – Вальпараисо, Аделаида, Антофагаста. Может, и не надо именам овеществляться, но не за нами выбор дорог, о которых мы думаем, что выбираем. Абрау – это и озеро, и река, и красавица из удручающе цветистой легенды. Озеро вправду прекрасно – длинное, зеленое, в кизилых деревьях и бордовых кустах осенней скумпии по высоким берегам. «Абрау» и означает «обрыв» – будто Гончаров по-белорусски. Есть и Дюрсо – тоже красавец, но бедный, и тоже речка, и тоже озеро. Вместе они – столица российского шампанского, основанная под Новороссийском князем Голицыным при Александре Втором, когда в России основывалось столь многое из того, что потом рухнуло. Вокруг – холмы, одни в щетине виноградников, другие острижены под ноль, словно пятнадцатисуточники, в горячке борьбы с алкоголизмом.

Шампанская штаб-квартира – в полураспаде, как ее окрестности во все стороны: к западу особо некуда, там море, а на восток – до Камчатки. Из-под земли, из пробитых в скале спиральных туннелей, где виноделы похожи на горняков, выдается на-гора напиток по технологии, не менявшейся с XIX века. На горе серые балюстрады и клумбы с виноградным рельефом напоминают не столько о голицынских, сколько о микояновских временах. У подножия широкой лестницы, сплошь засыпанной желтой листвой, – пикник. Южная закуска – сыр, абрикосы, хурма – разложена на сорванной где-то по дороге вывеске «Горячие чебуреки». Пьют водку, миролюбиво поглядывая на чужака с фотоаппаратом. «Да снимай, снимай, мы красивые, только сюда не подходи, а то боюсь», – мужчина в джинсовой куртке и темных очках кивает на лежащую рядом барсетку. Она раскрыта, виден мобильный телефон и пачка долларов толщиной в палец. Приятель из здешних шепчет в ухо: «Местные, абрауская группировка».

После знакомства хозяин барсетки Виталий проявляет гостеприимство: «Мы шипучку не очень, но ты должен все попробовать. Коляннич, сбегал быстро принес, только все чтоб». Тот бросается к фирменному магазину, поскользывается и с размаху падает на четвереньки в лужу. Под общий хохот поднимает грязные ладони и кричит: «Мацеста!» Все еще пуше смеются знакомой шутке.

Поочередно пробуются полусладкое, полусухое, новый меланхолический сорт «Ах, Абрау...». Виталий командует, чтобы после каждого вида прополаскивали горло минералкой. «Щас брют распробуем», – говорит он. Откупоривает бутылку «Лазаревской», булькает, запрокинув голову, сплевывает с презрением: «Это не вода. Я прошлый год в Сочи чвижепсинский нарзан пил из Красной Поляны – вот вода! В „Металлурге“ отдыхал». Кто-то почтительно уточняет: «Это где иммуноаллерги?» – «Да не, то „Орджоникидзе“, в „Металлурге“ – опорно-двигательные». Понятно, по специальности.

«Руллет московский черкизовский! – объявляет Коля, поясняя: – Моя завернула, ну с Геленджика, которая на „Красной Талке“ бухгалтером». Виталий реагирует: «Поедем на Талку, кинем палку», – снова общий добродушный смех. По последней шампанского и – с облегчением возврат к «Смирнову», под рулет. Коля раскладывает ломти веером на красных буквах «б» и «у». Пикник благостно движется к сумеркам, беспокоят лишь летучие клещи, с ноготь, серые, с зеленоватым отливом – нарядные, как все здесь.

Овеществление имени происходит без спросу. «Абрау-Дюрсо» – одно из ярких пятен в памяти. На теплоходе с этим смутно-романтическим названием приплыл в Новороссийск зайцем из Потти, стремительно выпил два литра черной «Изабеллы» из цистерны у морского вокзала, переночевал за два рубля на чердаке и отбыл наутро в Ялту с канистрой вина на том же «Абрау-Дюрсо», уже с правом на палубное место. Канистру прикончил по случаю своего двадцатипятилетия со случайными одесситами, и в этот юбилей, выпрыгивая по низкой дуге, вровень с кораблем шли десятки дельфинов.

Когда воспоминания сгущаются в абзац, получается Александр Грин с Зурбаганом и алыми парусами, хотя вино оставляет тупое похмелье и несмываемые пятна, на чердаке душно и колется тюфяк, волосы и ботинки в новороссийской цементной седине, команда не уважает и гоняет от борта к борту. Все равно, конечно, – Грин, уж какой есть. Какой был.

До Вытегры и после

Чтобы исторически не промахнуться, улицы в Вытегре – двойного наименования. Не так, как в больших городах, где всякий называет по привычке и в меру идеологической памяти, а буквально – две таблички одна над другой: «III Интернационала» и «Сретенская». От пристани, где на полдня пришвартовался «Александр Радищев» (на чем еще идти из Петербурга в Москву через озера, реки и каналы Русского Севера?), улица ведет, как положено, к храму, где, как положено, краеведческий музей.

Непременного чучела волка нет, нет и набора минералов, история тут началась позже. Диаграммы роста марксистских кружков. Фотографии местных комбригов. К революционному движению подверстан здешний уроженец Николай Клюев, снятый в обнимку с изнеженно-порочными друзьями. Диаграммы животноводческих успехов. Карты сражений Великой Отечественной. Ни слова о лагерях в краеведческом музее города, стоящего – без всякой метафоры – на костях эзков, рывших эти каналы, возводивших эти египетские шлюзы, строивших на века эти серые бараки и вынесенных за скобки вместе с чучелами и минералами.

Церковь выкроила себе правый придел храма, по музею течет аромат яблок, приправленный запахом ладана, и невидимый из-за антирелигиозного стенда священник служит преображенскую службу. Его коллега на стенде жирной пятерней выхватывает монеты у истощенных богомольцев, поверху надпись: «Все люди братья, люблю с них брать я».

В двери заглядывают иностранцы с «Радищева» и растерянно отступают: куда попали? Сретенский собор поставлен высоко и заметно, как везде и всегда умели ставить храмы, но билетерша у дверей, таблицы и графики, берестяные поделки умельцев вконец путают чужеземца, даже кое-чего насмотревшегося за неделю плавания.

Американцы и англичане – неистовые туристы, поехали так поехали, в Камбодже было тоже необычно. С раннего утра трое уходят в вытегорскую неизвестность, не вняв увещаниям корабельной радиорубки: мол, на этой стоянке делать нечего. Зачем же тогда стоим? И они, кругленькие, седенькие, в белых гольфиках, белых шортиках, белых панамках, – уходят, как разведзонды, в туман и морось. Закутанный русский контингент на палубе рассуждает, вернуться ли. Возвращаются, хоть и с пустыми руками и новыми безответными вопросами о странностях материальной культуры. Субботний день, август, Яблочный Спас – на рынке локальный продукт представлен двумя кучками мелкого белого налива. Все остальное – в консервных банках. Где-то в Нальчике земля родит – оттуда помидоры в сопровождении двух молодцов, которые прихлопывают, машут безменами и вдруг страшно кричат: «А вот помидор грунтовый кабардинский берем!» Вытегра пугается, но не слушается: дорого.

В избе под малообещающей вывеской – магазин с гигиеническими рассыпями. Одной зубной пасты – дюжина видов. Пыльный антиблошиный ошейник «Made in Germany» висит с гайдаровского переворота. Изба стоит наискось, и как-то вдруг понятно, что вместо ошейника мог бы болтаться хомут, что инопланетные тюбики и флаконы случайны, тем более что дух, стоящий в продуктовой очереди или в автобусе, напоминает лишь об одном средстве гигиены – сером бруске с выдавленными цифрами «72 %»: в тазу раз в неделю. Содержание вступает в противоречие с формой и пока проигрывает.

Серая изба и серый барак предстают стилевой доминантой, которая сменяется лишь с приближением к Москве – новой цветовой гаммой прибрежных сел, с блестящей пленкой парников, с красным кирпичом стен, с пестрыми машинами возле, с белыми и зелеными кругами спутниковых тарелок. Но до того, сразу за Питером и долго-долго после – на Ладого, Свири, Онеге, Белозере, – нечто серое, покосившееся так и стоит неперестроенным со времен Алексея Михайловича.

В полузаброшенном Горицком монастыре из такого барака выскакивают двое, обоим под сорок, к полудню уже приняли, мало. Быстро определяют столичных, заывают: «Посмотрите, как живем». Внутри, как и снаружи, все наискось – стол, табуреты, пустая этажерка, забросанный тряпьем топчан. Все, что возможно было вынести за копейку, вынесено. Резкий запах утопленных в селедочном пиве окурков. Окна не задуманы отворяться. Жилье обводится широкими киношными жемами: «Видите, до чего перестройка довела».

Как же незамедлительна готовность сослаться на события глобального масштаба: революцию, контрреволюцию, войну, происки. Каплей литься с массами. Как-то в нью-йоркском Музее современного искусства показывали фильм «Ой вы гуси», где героя постоянно бьет по голове доска при входе в собственную избу. После сеанса зануда-зритель пристал к режиссеру: почему? Его не устраивали длинные ответы о наследии сталинизма, разорении села, разрыве власти с народом, он тупо повторял вопрос: почему после первого удара по голове не прибить доску?

«Может, пить стоит поменьше?» – вопрос в горицком бараке задается осторожно и безнадежно. Ответ предсказуем и боек: «А как с такой жизни не пить?» Чувствуя, что для получения чаемого червонца антуража маловато, козыряют единственным в доме непроданным предметом: «Дембельский альбом, вам будет интересно». Альбом как альбом: росчерк комбата, шаржи полкового художника, затейливо вшитые лычки, фотографии – на турнике, с кружкой, за рулем МАЗа. Светлое прошлое, два года осмысленной жизни, когда решения принимал не сам. Торговля убожеством закончена – как раз на червонец. Неловко класть деньги возле банки с окурками: вроде люди нестарые, руки-ноги на месте. Но встречного неудобства нет: «Что, альбом не понравился? А фотографировать не будете?»

Да нет, видали. Чудно вспомнить, что в похожих декорациях часто проходили дни юности, только на этажерке стояли Камю и Кафка, а вместо дембельского лежал альбом Чюрлениса. Знаком и зажиточный вариант: поныне цветущий, хоть бы и в столице, избяной принцип наслоения всего на все, закон никогда-ничего-невыбрасывания, викторианский триумф мелких предметов – только в отличие от образцовой избы, где пространство было устроено умно и удобно, в городских и сельских избах XXI века организующий стержень утерян. Да и как сориентировать кровать по сторонам света: по компасу? Микрокосм избы перекошен, как кресты на многократно и бездумно перелицованных церквях, как любая стена любого дома. Здесь при девяноста градусах кипит вода, а прямого угла не видал никто.

По пути из Петербурга в Москву тревожится тень не только Алексея Михайловича, но и его совсем не тишайшего сына. Это мегаломан Петр заложил палладианскую эстетику фараонского размаха среди плоских деревень на плоской воде. Таков Петрозаводск, все сияющийся непонятно кого превзойти – не Питер же, хоть он и ровесник, а до других соперников – скачи неделями. Зато здесь театр, какого нет нигде, – огромный, отдельно стоящий, чтобы обойти и оцепенеть от мраморных гармонистов под коринфской колоннадой. Здесь самый большой в СССР Ленин с 30-х, а на контрасте, поставленные в либеральную невнятицу 60-х, уютные Маркс и Энгельс: присели два дедуся на завалинку, капитал там, то да сё, происхождение семьи, не наговориться. Уже в наши дни вдоль Онежского озера вытянулась гранитная набережная, которая была бы впору, может, Чикаго. Для полноты петровского ужаса по широкой дуге стоят дикообразные скульптуры шведских, американских и других авангардистов из городов-побратимов, которых не разглядеть на картах Швеции и Штатов.

История вообще податлива, в России – особенно, на Русском Севере – особо извращенно.

Триумфальные арки шлюзов с гербами, знаменами, лафетами и прочей царственной лепниной – хочешь не хочешь, высятся символами. Шлюзы призваны запирать, поднимать, опускать и выпускать – все слова из обихода зэка, главного первопроходца этих вод и земель.

На Валааме – следы других навигаторов отчизны. Сюда по ладожским водам свозили военных инвалидов, которые, должно быть, еще дичее, чем в городах, выглядели в изящной

еловой готике Валаама. С катера, по пути из Никоновской бухты в Монастырскую, над вер-хушками деревьев видны маковки восстановленных церквей. Храмы – с объяснимым, но все же назойливым привкусом новодела, особенно ядовито-голубой колер главного, Спасо-Преоб-раженского монастыря. В центральной усадьбе тянется жилищная тяжба, и все – вперемешку. Постные лики мирян, живые гримасы чернецов – хорошо хоть одежда разная. Беленые здания двойным каре: снаружи не разобрать, где монастырь, а где коммуналки инвалидов потом-ков. Церковные власти явно одолевают, за ними признанная правда, они строги и напористы, парни в рясах проворно бросаются на туристок в джинсах, как некогда милиционеры на сти-ляг. Джинсы нарушают святость места, а отсутствие сортира – нет? Вопрос риторический в краях свирепой духовности.

На Свири монастырь Александра Свирского потеснил психбольницу. Стройные здания (церковное зодчество тех веков – наверное, лучшее, что произвела на свет русская архитек-тура) размещены над Святым озером. Местные гордятся: озеро в виде креста. По карте не заметно, говорят, видно с вертолета, но где взять вертолет – что в XVII столетии, что сейчас. Зато видно, как сквозь серые монастырские стекла, похожие на бычьи пузыри, глядят умали-шенные. Как уместна тут вневременность их лиц, их остановившиеся во всех эпохах взгляды, их тихая, неизбывная, вечная боль. Натура Брейгеля, Босха, Феллини, Германа.

Бакинец Юра, сапер-прапорщик в отставке, окружающим ритмом недоволен. За восемь лет жизни на Свири его и жгли, и громили, но он все ставит какие-то ларьки, коптит судаков и сигов на продажу, возит туристов в монастырь. Юра возмущается соседями: «Они спят и квасят, с утра квасят прямо с детьми. Я? Не, только оператив, знаете, такой шоколадный опе-ратив, еще фруктовый бывает, на неделю мне бутылки хватает». Дивный пошел прапорщик. Жена Юры – из вепсов, смиренной карело-финской народности, умеренной и положительной. Тесть и теща в своей Карелии и отбывали срок, строили все те же каналы. В названии места – Свирьстрой – вторая часть выразительней и историчней.

К счастью, это не Колыма – все, кроме мошканы, с человеческим лицом: климат, леса, реки, оставшиеся люди. «Оставшиеся» – потому что почти полмиллиона ушли в Финляндию с отобранных у финнов земель. Победы в России – больше на фронтонах арок.

На Севере все сдержанно и приглушенно. Солнце случается так редко, что уже и про-тивопоказано этим местам. Очень низкие облака дают правильное освещение, в котором осн-овные лемехи куполов тускло поблескивают, как мельхиор. Кижы оказываются не китчем с глянцевого календаря, как опасаясь, а вписываются каждой планкой в пейзаж. Деревянные церкви, часовни, сараи, амбары, раскидистые дома – неожиданно, но логично напоминающие альпийские шале, – растут невысоко и крепко, как карельская береза. Сыроватый воздух плот-тен и ощутим на вкус. Гид в Кижях говорит, что похмелье тут переносится легче. Знание пред-мета сквозит в кривой усмешке при этих словах, в трудном движении кадыка. Он задирает голову и кричит: «Игорек, давай!» Игорек дает, да так, что долго стоит в ушах меланхоли-чески-бесшабашный виртуозный перезвон. Туристы бросают купюры в коробку у подножия звонницы, сверху оценивающе выглядывает припухший Игорек – завтра опять понадобятся целебные свойства карельского воздуха.

Из-за отдаленности, тихой красоты, воздуха, обилия рыбы, грибов и ягод – живых запа-сов постной пищи – на Севере закладывались скиты и монастыри. Так встал на Сиверском озере Кирилло-Белозерский – громадный, второй на всю Россию после Троице-Сергиевой лавры, мощного крепостного облика. Никому никогда не понадобилась эта крепость, а если б оказалась нужна, то рухнула бы в считанные дни осады, потому что российские фортифика-торы отстали в военной технике лет на сто от тогдашнего потенциального противника. Но народ выбирает свои маяки, как выбрал православие, – за красоту: мало есть видов значитель-нее, чем Кирилло-Белозерский с озера, разве что Макарьев, встающий на рассвете из волж-ских вод.

Ферапонтов – то ли противоположен, то ли задуман Кириллову в пару. Ферапонтов поэтичен и незащищен, добродушен даже стерегущий его сержант, не лает дворняга с проблеском колли. Монастырь открывается в девять, появляются музейные работники, пресекая всякие поползновения: «Нет-нет, сперва нужно сделать замеры температуры и влажности, минут сорок еще. – Так нас теплоход ждет. – А-а, теплоход, тогда заходите». То же у Рождественского собора с фресками Дионисия: «Вход строго по четыре человека. – Нас шестеро, одна компания. – Это другое дело, давайте». Кажется, то, что потихоньку губит страну, и спасало ее, в том числе в этих краях: опаздывал конвой, просыпало с похмелья начальство, ленились костоломы. В Ферапонтове тоже были зэки, один очень знаменитый – патриарх Никон. Извечный бардак выручал его в своем XVII веке: непонятно было – то ли это супостат, то ли руководство на временном отдыхе. Заключенному Никону доставляли в комфортабельные кельи осетров и арбузы, пока в Кремле не приняли, наконец, решение и не отправили его на строгий режим в Кирилло-Белозерский, ставший последней зоной разжалованного патриарха.

Ферапонтов стоит на холме меж двух озер. Он захватывающе легок снаружи и внутри. Внутри – росписи Дионисия. Идеальная гармония линии и цвета – фовистское сочетание плоскостей красно-коричневого с густо-голубым и бледно-зеленым. Аллегория мира ненатурна, как поется в красивой песне – «земля и небо вспыхивают вдруг».

Ради одного этого маленького собора стоит отправляться в путь, но массового туриста сюда не возят – берегут фрески. На Горицкой пристани долгое обсуждение, кто бы подобрал в Ферапонтов: «Может, Сашка? – Не, Сашка коптит, к Рустаму надо». Основательный Рустамов дом выделяется среди изб вытегорского типа. Деловитый хозяин, явно из любителей шоколадного оператива, заводит «жигули», вторым берет на «москвиче» Сашку, оторвав от лещей, попутно пытается продать шахматы: «Французы берут на раз, больше Куликовскую битву, ребята не успевают резать. До меня одни кофточка и платки были, я со своей темой пришел, с шахматами, четырнадцать моделей, рыцари всякие, Наполеон, но круче всего – русские с татарами, и недорого».

По возвращении на пристань приобретаются не шахматы, но роскошные лещи, докопченные Сашкиной женой. Вечером – пир на палубе под классического «Бочкарева» на зависть соотечественникам, на диво иноземцам. Пожилой турист из Нью-Джерси подходит узнать, что это терзает с таким урчанием. Наутро, уже как знакомый, закидывает вопросами: о религиозном ренессансе, качестве водки, особенно о причинах перекошенности домов. Он спрашивал экскурсоводов, но не удовлетворен глобальными политэкономическими ответами, ссылками на злодейства коммунистов и демократов, он, как его соплеменник в нью-йоркском Музее современного искусства, хочет понять, почему не вбит конкретный гвоздь.

«Радищев» тянется вдоль серой перекошенной деревни. «Кстати, не знаете, что это за big village? – Вытегра». Панически хватается за карту: «Простите, но Вытегра была позавчера. – Ага, и еще долго будет».

Фирменный поезд “Ярославль”

«Скорый поезд повышенной комфортности „Ярославль“ отправляется через пять минут». Поверх высоких спинок мягких кресел переброшены парикмахерские салфеточки. Банку пива можно поставить на серый с разводами столик. Телевизоры над головами, как в самолете, крутят два фильма за рейс: сперва про американского киллера, потом про своего – «Брат». Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу, складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы, какой там кроссворд. И еще: где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плиссированной юбке? Не так же она пришла на вокзал. Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка, а теткино где? Все волновало нежный ум.

На перегоне Александров – Сергиев Посад через вагон проходит бритый наголо мужчина, одетый с претензией – не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладет полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой. Минуту неподвижно смотрит в экран. Там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют: «Прогулка в парке без дога может встать тебе очень дорого, мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго». Бритый страдальчески морщится. Мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб быстро переходит в надбровные дуги и в нос. Мерцают глазки. Он разворачивается и уходит в дальний тамбур.

За окном – среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри – цвет, свет, уют. Галдит кино, пропуская в паузы вагонный говор: «Очень тут культурно... Между первой и второй, как говорится... А что, там нормальное снабжение... Ну значит, за все как оно есть хорошее...» Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом: «А чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги, мама говорит: «На Пушкинской тоже никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером с флажками в петлицах, спрашивают, как выглядит хозяин рюкзака, тетка пригоршней обозначает у лица конус, получается похоже. Охрана уходит, скоро возвращается, важная, по-балетному медленно приволакивая ноги. Держась подальше от рюкзака, охрана сообщает: «Все в порядке, он говорит, там морковка».

После Сергиева Посада за окном становится совсем темно, в вагоне еще уютнее от тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют: «На городской помойке воют собаки, это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор, еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак, толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки, ничего не понять. «А чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» – громко говорит тетка. Дочка одергивает на бедрах короткую лиловую юбку, мама произносит: «На Пушкинской тоже никто не беспокоился».

Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит: «Да в тамбуре он стоит, в тамбуре». Тетка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам: «Только бы доехать». Дочка, волнуясь, объясняет: «Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление». Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда. Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал». Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: «Ты мне золотой бюст поставить должен». Блондин изумляется: «Золотой?» – и падает на столик. В проход катятся банки из-под «Ярпива». Охрана бережно выводит блондина в тамбур, брюнет, качаясь, идет следом, настаивательно продолжая: «Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст».

Тетка орет в голос: «Морковка! При чем тут морковка?! Что он, положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом: «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики понятно, пиво пьют, а вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет: «Да мы про рюкзак». Военный рассудительно отвечает: «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины? Абсолютно не укладывается». Дочка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним – детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром: «Мне страшней Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают, и также нелегко здесь нрав». Брат уже всех убил в Петербурге и едет в Москву. За окном – неброская графика, русский дорожный пейзаж.

Механический голос объявляет: «Скорый поезд повышенной комфортности „Ярославль“ через пять минут прибывает на конечную станцию – Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, сдергивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку – грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница: «Собрал все сейчас же! Сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали, а кому убирать?!» Поезд останавливается. Тетка в берете встает, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. Дочка, расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку, и вслед за ним выходят на перрон.

Иммануил Кант

По дороге из калининградского аэропорта в город мелькают названия: Сосновка, Малиновка, Медведевка, Орловка. На фоне совершенно нерусского – прибалтийского, северогерманского – пейзажа набор имен, усугубленный Малиновкой, отдает опереттой. В такси щелкает польский счетчик, отбивающий сумму в злотых, которая при расплате все-таки оборачивается рублевой. Сельские дороги Восточной Пруссии – будто аллеи: тополя, клены, платаны. Рядом с редкими амбарами из вечных с прожилками валунов – дома из серых бетонных блоков, составленных словно наспех, нет времени и охоты оштукатурить, покрасить, расцветить.

Серый бетон громоздится в городе, что режет глаз лишь на улицах с сохранившейся брусчаткой. Калининградцы гордятся: «Только у нас во всей России брусчатка, с немецких времен». С тех времен – десяток-другой уцелевших особняков с лепниной, балконной вязью, черепицей на улице Королевы Луизы (сейчас Комсомольская), в районе Амалиенау (окрестности улицы Кутузова). Такие дома уместнее где-нибудь в мюнхенском Швабинге или рижском Межапарке. Рига волнуяще проглядывает в Калининграде – чуть-чуть: Ригу не бомбили, Кенигсберг раскатали до мостовых.

Что пропустили союзники, довершили переселенцы – отправленные сюда взамен изгнанных немцев российские и белорусские колхозники, их дети и внуки. В местном музее – новый зал, где выставлены указы 46–47-го годов за подписью Сталина и Чадаева, Шверника и Горкина: двенадцать тысяч семей, потом восемь тысяч шестьсот, потом еще, еще. Они приходили на чужую землю, вешали коврики со своими лебедями над чужими низкими кроватями, учились крутить чужие машинки «Зингер», по праздникам вынимали из высоких сервантов чужой недобитый фаянс в розовый цветочек. На голых местах возводили свой бетон. Иногда осваивали под него занятое место – как в 67-м, когда взорвали Королевский замок и поставили бетонный параллелепипед Дома советов, в котором никто никогда не дал и не выслушал ни одного совета, не просидел заседания, не схватил за жопу секретаршу. Пустая пятнадцатитажная коробка Дома советов видна в Калининграде отовсюду, лучше всего – с острова Кнайпхоф, от кенигсбергского кафедрального собора, с того места, где похоронен Иммануил Кант.

Много ли найдется на пространстве от Калининграда до Владивостока тех, кто прочел «Критику чистого разума» и две другие кантовские «Критики»? А в начале 90-х обсуждали переименование города в Кантоград. Почему-то Кант в качестве гения места Кенигсберга, ставшего Калининградом, усиливает никуда не девшееся за полвека ощущение военной трагедии, непреходящее чувство послевоенной драмы. Чудом избежавший бомб и снарядов, изысканно прусский Гердауэн потрясает новым именем – Железнодорожный. Курхаус в Светлогорске (бывшем Раушене) нелеп, как полвека назад был бы нелеп в Раушене (будущем Светлогорске) курзал. Странно, но за десятилетия не исчезает историческая неловкость жизни на чужой, пусть и по праву, по атавистическому праву силы занятой земле. Не случайно потомки русско-белорусских переселенцев по всей области собирают восточнопрусскую старину. В любом месте с руинами тевтонских замков – общества с древними гербами и турнирами в доспехах. Достопримечательность Черняховска-Инстербурга – местный электрик по имени Рыцарь Гена.

Поиски корней – но чьих? На земле, по карте которой пройдено ластиком, а по стертому написано заново: Зеленоградск, Светлогорск, Озерск, Славск, Правдинск. Страна Незнайки.

Навечно временный русский Кенигсберг пребывает умонепостижимой вещью в себе – как и учил здешний уроженец, четыре года бывший подданным России. Остается, повинувшись категорическому императиву, нанизывать множющиеся антиномии. Театр кукол в кирхе Святой Луизы. Крошечный Ленин в курортном Кранце. Бетонный гастроном поселка Рыбачий – Росситена, упомянутого в рассказе кенигсбергца Гофмана. Левитановски золотые березы со вспышками красных кустов и штрихами нежелтеющей черной ольхи вдоль дороги на Курш-

скую косу. Выставка «Земные облака» – «творчество душевнобольных пос. Прибрежный и гор. Гамбург». В музее янтаря – кенигсбергские шкатулки, подсвечники, распятия, калининградские ледоколы, спутники, сталевары. Серый бетон над темно-серой брусчаткой. Остров Кнайпхоф, который, с тех пор как опустел, обрел в виде компенсации прописную букву – Остров.

Собор на Острове восстановлен, внутри пуст, как Дом советов, но ухожен и элегантен снаружи. В башне – Музей Канта с книгами, гравюрами, мраморным бюстом, книгой записей.

«Мне, моей сеструхе Рите и нашим любимым бабушкам очень понравилось. Кант был великим человеком. Алина».

«Мы очень ошеломлены собором и Кантом. Экипаж эскадренного миноносца „Настойчивый“».

«Любимому Канту – Оля».

«Приехали из Удмуртии. Загорали, купались, а сегодня знакомимся с Кантом. А сколько еще впереди!»

«Нам очень понравилось, особенно Кант. Мы даже с ним сфотались. Он был в бескозырке. Матросы Балтфлота».

В Пилькоппене на Косе – коттеджи с каминами и глинтвейном. Глинтвейн вкусно готовят в баре пансионата с голубой вывеской «Пункт питания», и становится ясно, что это не Пилькоппен, а все же Морское. Вечером у белесой воды – все почти как в детстве на пляже другого балтийского залива, на янтарной охоте со спичечным коробком в руке. Под довоенной сигнальной мачтой из черной оружейной стали с флюгером-крестом – рыбаки общеевропейского облика, так что в первую минуту озадачивает их русский без акцента: «Да не, какая рыба, это только с утра будет, мы так стоим». Радужно протягивают пачку «Эр-один»: «Закуривайте, у нас вот только говно немецкое».

Облачко немецкого дыма. Звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас. За дюнами – город Канта в бескозырке, бетонная критика чистого разума.

Семья Ульяновых

В Ульяновске – двадцать четыре ленинских объекта: дома, в которых в разные годы жила семья; мемориал, сооруженный к столетию, в 1970-м; жилье учительницы Кашкадамовой; даже – излюбленное место прогулок Володи над Волгой. Особо выделен заповедник «Родина В. И. Ленина» – кварталы главных строений, среди которых на улице Ленина, 68, бывшей Московской, объект № 1 – Дом-музей.

Местные знакомые решительно проводят по улице Ленина мимо: «Сейчас вернемся, надо ж подготовиться». Сначала приобретается легкая закуска в уличных торговых рядах, где давняя народная тяга к аббревиатуре достигает авангардистской изысканности: «Хриз-ма 70 р.», «Яб. слад.», «Пр-ся картошка». Приклеенное к столбу объявление обещает в ближайшие выходные «соревнования по стрит-болу, триалу, выступления роллеров». На такое больше обращаешь внимание в городе, где родился стилист Гончаров и стоит памятник придуманной симбирским уроженцем Карамзиным букве «ё» – фанерный обелиск в детской библиотеке с надписью: «Буква *e* сь двумя точками на верьху замѣняетъ *io*».

Ближе к речке Свияге – важный объект: магазин «Дионис» с большой фиолетово-желтой вывеской «Напитки Кубани, наполненные солнцем». Действительно, другое дело, когда этим солнцем наполняется Дом-музей. Изумленные музейные служители сперва неуверенно протестуют, потом тоже соглашаются принять по стаканчику муската под «яб. слад.»: все развлечение, других посетителей нет.

Начинается Ленин.

Почти ничего не понятно в нем, и шансов все меньше, по сути никаких. Баснословное обволакивание началось сразу после его смерти, давно это было, в 30-м уже вышла книжка «Ленин в русской сказке и восточной легенде».

– Государь ты наш аглицкий, не прими мое слово в насмешечку, прикажи отпустить из казны твоей денег золотом. Изобрел я средство драгоценное для врагов твоих и державы аглицкой. И то средство – не лекарство, не крупинки в порошках больным и не пушка самострельная. А то средство – невидимое, прозывается лучевой волной, незаметною. Наведем волну прямо на Ленина. И подохнет он, будто сам умрет.

Повскакали с мест люди царские. Государь вскочил без подмоги слуг. Закричали все:

– Ты спаситель наш. Мы казной своей раскошелимся, наруши врага-обольстителя.

...С той поры занемог Ленин-батюшка, через средство невидимое, что назвал холоп лучевой волной, незаметною. Заболел отец, на постель прилег, и закрылись глаза его ясные. Но не умер он, не пропал навек...

Лучевая волна промахнулась. Головы его не затронула. Только с ноженек пригнела к земле да и дыхание призамедлила. Ленин жив лежит на Москве-реке, под кремлевской стеной белокаменной. И когда на заводе винтик спортится или, скажем, у нас земля сушится, поднимает он свою голову и идет на завод, винтик клепают, а к полям сухим гонит облако. Он по проволоке иногда кричит, меж людьми появляется. Часто слышат его съезды партии, обездоленный трудовой народ. Только видеть его не под силу нам. Лучевая волна незаметная закрывает его от лица людей.

Пишут, что собрано фольклористами: про аглицкий заговор – под Иваново-Вознесенском, другие – на Владимирщине, в Сибири, под Вяткой. При этом уши московских сочините-

лей-интеллигентов торчат отовсюду: из-за чуждой «лучевой волны», литературного «холопа», рафинированного остроумия «по проволоке иногда кричит» – видна работа, хоть с небрежностями, но основательная и целенаправленная.

Проще с Востоком. Так Гоцци помещал сюжет в Самарканд с ханом Узбеком, а Кальдерон – в Московию с герцогом Астольфо, потому что в таких местах с неслышанными законами и нравами можно не мотивировать любую небывальщину сюжета. Так получалась и узбекская песня:

*Ленин сверг насилие и гнет,
Ленин сам бедняк, но родился он
От месяца и звезды и от них получил силу,
И сделал доброе дело...
У него правая рука по локоть была золотой.
А в жилах его тек огонь...
Когда в него стреляла женищина, тогда собака,
Лизнув его кровь, упала мертвой,
А он не умер... Почему?
Огонь его жил сжег, испепелил яд.*

Родной город все же непременно говорит нечто о человеке, даже о таком недоступном. Дело, конечно, не в комнате Володи, запылесосенной до полного исчезновения жизни. Вот оно где происходит – то, что обещано большим плакатом в вестибюле ульяновской гостиницы «Венец»: «Централизованное пылеудаление»! А то сразу не понять – насколько централизованное, каков масштаб: района, области, страны?

Пылинки сняты повсюду – с нот «Аскольдовой могилы» и «Гуселек» на рояле в гостиной, с процеженного книжного набора (Тургенев, «Тарас Бульба», «Спартак») у кровати, с сусальных отношений с братом (хотя, по свидетельству Анны Ильиничны, Саша отзывался о Володе: «Несомненно, человек очень способный, но мы с ним не сходимся»).

Музейные работники рассказывают, о чем нынче спрашивают чаще всего – разумеется, о национальности, понизив голос. Еще про Инессу Арманд, с которой проще: можно доверительно признаться, что было, было чувство, превышающее нормы партийного братства, но исключительно целомудренное, и, боже упаси, никаких детей. «А как Надежда Константиновна на это? – Да они все дружили, втроем, в Швейцарии Владимир Ильич их вместе в горы выводил: у Надежды Константиновны базедовая, у Инессы Федоровны туберкулез». Реакция у женщин безошибочная: «Вот люди были! Я бы так не смогла, с другой вместе. А ты смог бы?» – это мужу. «Да иди ты».

По части происхождения пылеудаление произведено особо старательно – хотя разве жалко: ну был на четверть евреем. Причем только в розенберговском, нацистском понимании – потому что отец матери, волынский выходец Сруль Бланк, в Петербурге крестился в православие, переименовался в Александра и перестал быть иудеем: можно было бы и не стесняться. Бланк дослужился до чина надворного советника, был уважаемым врачом, ратовал за естественные методы лечения и написал книжку с совершенно сегодняшним рекламным заглавием «Чем живешь, тем и лечись».

Живые пылинки сняты с быта. Принята версия аскезы: не до жюльенов, когда мировая революция. Но, с одной стороны, родственница сообщает о семье Ульяновых: «Не помню, что когда-либо, даже шутя, говорилось о вкусном блюде». С другой – Крупская пишет о себе и муже, что они обладали «в достаточной степени поедательными способностями», а Ленин особенно любил «волжские продукты: балыки, семгу, икру, которые в Париж и Краков ему посылала мать, иногда в гигантском количестве». Возникает даже радость от совпадения вкусов,

впрочем, не велика оригинальность любить семгу и икру – но уж очень не хватает человеческого в облике. Торжествуют жанры иконы и заклинания.

Предвосхищая дальнейшие славословия, слившиеся в неразличимые буддистские бормотания, в той книжке, изданной «Молодой гвардией» в 30-м, бурятские частушки приведены в оригинале с ненужным, по сути, переводом.

*Унэнхурань тогтожи,
Утхальжсаня хубун налагарба.
Ульянов хуля топто-оржи,
Улад зоних налагарба.
Хула морье аршалган,
Хурдан вагондо баяртабдя.
Худморшо зоно аршалган,
Хомунист Лениндэ баяртабдя.*

*Когда перестал идти сильный дождь,
То легче стало птенцу кроншнепа.
Когда установилась власть Ульянова,
То народу стало легче и лучше.
Облегчившему участь саврасой лошади,
Быстрому вагону – благодарность.
Облегчившему участь трудового народа,
Коммунисту Ленину – благодарность.*

За толщей лет, лживых мемуаров, предвзятых (в обе стороны) исследований не разглядеть нравственной личности, поиски которой – занятие сколь нескончаемое, столь и бессмысленное. Будто извинительней быть зверем по соображениям целесообразности, чем по природной склонности. Или наоборот.

Усилиями писателя Солоухина распространилась история о том, как Ленин в Шушенском убивал прикладом ружья десятки зайцев, застигнутых половодьем на островке. Вроде не добавить ничего к террору и лагерям, но есть твердое ощущение, что одно – подписать бумагу, другое – маленького пушистого по голове. Современные ульяновские лениноведы, понимая эту разницу, с энтузиазмом козыряют воспоминаниями Крупской: «Поздно осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники». Из ствола в упор или прикладом по башке – хорош диапазон нравственного выбора.

Владимирская сказка дополняет.

Был у Ленина товарищ-друг, что ни на есть первейший – разверстки комиссар. И вот сказали Ленину, что друг-то его этот обижает мужиков да живет несправедливо, добро народное не бережет.

Призвал его Ленин и говорит:

– Друг ты мой, верно это?

Тот молчит, голову опустил.

А Ленин ему:

– Мужика теснить ты права не имеешь. Потому мужик – большая сила в государстве, от него и хлеб идет. Значит, как друга своего я наказать тебя должен примерно.

Поцеловал тут Ленин друга-то, попросался с ним, отвернулся и велел расстрелять его.

Каков он был, написавший в анкете 1922 года на вопрос про деда – «не знаю», бывший за всю жизнь на ты только с Мартовым и Кржижановским, ни разу не навестивший Симбирск после того, как уехал отсюда в 1887-м? Бог весть, но уже сами вопросы складываются в намек на ответ. Родной город непременно говорит нечто о человеке, даже о таком недоступном, – не потому, что здесь говорят правду, а потому, что здесь проговариваются. Многолетний культ накапливает избыточное количество сведений, они выплескиваются через край, против желания хранителей, подчиняясь своим центробежным законам.

В Ульяновске по разным ленинским объектам – огромное количество фотографий. Всего известных снимков В. И. Ленина с 1874 по 1923 год – четыреста десять. Едва ли четверть публиковалась. Перестройка поразила несколькими портретами шуплого монголоида, но ульяновская иконография вождя и его родни ничуть не сенсационна – просто обильна. Срабатывает чтимая Лениным диалектика, количество переходит в качество, и как-то выразительно, вызывающе некрасивая семья Ульяновых предстает отдельным подразделением, спецназом неблагообразия, выращенным и рекрутированным на просторах от Волыни до Поволжья для зачистки российской земли. Грубо, наспех слепленные лица с тяжелыми надбровными дугами над широко и глубоко посаженными маленькими глазками – не отделаться от мысли об отметине, о печати. Нехороши собой даже породненные: будто подбирались под общий типаж, просторно-имперский, со скрещением немецкой, шведской, еврейской, русской, калмыцкой кровей. Снимок 1928 года с сидящими на лавочке Марией Ильиничной и Надеждой Константиновной в грибовидных шапочках вдруг кажется иллюстрацией к хулиганской гипотезе Сергея Курехина: «Ленин – гриб».

Ульяновы выросли в этой стране. То, чем прославлен главный из них, вскормлено этой почвой. Ничто чуждое никогда не приживается и не дает плодов. Все, что есть, – свое.

Мускат допивается во дворе дома Ульяновых, у колодезного сруба. Здешний знакомый объявляет: «А „Дионис“-то еще открыт – напитки, наполненные солнцем!» и цитирует стихи молодой местной поэтессы, даже не ульяновской, а откуда-то из непроглядной глуши:

*Пьем за здоровье горькое вино,
Его тем сокращая поминутно.*

«Сократим? – Сократим!»

Какое же правильное мироощущение у девушки, какое раннее понимание жизни.

Джон Григорьевич

После четырех часов катания и ходьбы по Ярославлю экскурсовод Марина предлагает: «Можно еще поехать в музей „Музыка и время“, первый частный музей России». – «Лучше посидеть в симпатичном месте. Вот вчера в „Руси“ на Кирова давали сказочную уху с грибами, да еще в каком-то древнеримском декоре. Не знаете чего-нибудь подобного?» – «В „Руси“ не была и вообще по ресторанам не очень. А в том музее хорошая коллекция часов, утюгов, граммофонов, колокольчиков. И сам Джон Григорьевич человек примечательный». – «Как вы сказали?» – «Джон Григорьевич Мостославский». – «Немедленно едем!»

К Волжской набережной машина сворачивает у «лощенковского» магазина. На фасаде белого классицистского здания с треугольным фронтоном и восемью колоннами ионического ордера – голубая вывеска «Продукты». Это была Космодемьяновская церковь, потом продмаг, в который ходили домочадцы жившего за углом ярославского Брежнева – Лощенкова. В другом государстве в другую эпоху магазин так и остался «лощенковским», а говорят, нет у народа исторической памяти.

Память выборочная, причудливая. В Ярославле на всякий случай сохраняют все названия, как обыватели прифронтовой полосы держат в подполе разные флаги; на углах – по четыре таблички: Суркова, бывш. Школьная, бывш. Гимназическая, бывш. Благовещенская. У Волги показывают дом, в котором умер Андрей Болконский. За Которослью рядом с живым шумным лакокрасочным комбинатом – забытая мертвая громада храма Иоанна Предтечи, темно-красного кирпича с зелеными изразцовыми поясами. Собор выделяется даже в чередности достославных ярославских церквей. Очарование Рождественской пробивается сквозь разруху. Угадывается красота Николы Надеина. Церковь Ильи Пророка чудесным образом простояла ухоженной на огромной Советской, бывшей Плацпарадной, площади напротив обкома – прежнего (и нынешнего) губернаторского дворца. Лучшее всего храм выглядит с улицы Нахмисона, бывш. доктора философии Бернского университета, бывш. комиссара латышских стрелков, бывш. предгубисполкома. Увековечены и другие видные ярославцы: основатель русского театра Федор Волков изломанной позой и штанами в обтяжку похож на тореадора, Ярослав Мудрый с городом в руках прозван «мужик с тортом». В полдень начинается снег, и торт становится сливочным.

Снег, благословение российской провинции, с ярославской расторопностью кроет прорехи, пятна, лужи, возвращая городу изношенное достоинство. Естественными кажутся белые беседки над Волгой – невесть откуда взявшиеся в этих широтах воздушные шестиколонные ротонды с коринфскими капителями. На снегу, под снегом, в снегу все становится каким-то неведомым давним, из Лескова, из Бунина: кованые перила набережной, тупо прямоугольный речной вокзал, дизайнерски отважная алая рябина на черных ветках, пышная голая тетка с мячом на фасаде сталинского дома, праздная лошадь у Спасского монастыря, на которой некому кататься в несезон. Причудливая выборочная память строит зимний Ярославль.

Джон Григорьевич в вязаной жилетке ведет от коллекции к коллекции. Он мягко гладит утюги, как Шлиман – черепки Приама. «Это автомат, видите, верх откидывается, утюг заполняется водой и сам защелкивается, можете отпаривать что хотите. Вы знали, что сто лет назад были утюги-автоматы? Вот видите, приехали сюда – узнали. Это судьба».

Он садится в кресло, над головой бешеным тропическим цветком развернуто розовое жерло граммофона. Хозяин подмигивает знакомой ему экскурсоводу Марине и заводит пластинку. Поют по-итальянски, а память подсказывает русский текст, все ведь переключивалось на родной, от оперы до похабеля: «Никто не знает, где живет Марина, она живет в тропическом лесу...». Фисгармонии, механические пианино, музыкальные шкатулки, шарманки. На полках

– тысячи пластинок. «Вы такого не слышали, я сейчас поставлю, вы таки поймете, что только ради этого стоило сюда ехать». Карузо, 1902-й.

Всю жизнь Джон Григорьевич был иллюзионистом. Над лестницей – афиши, где Мостославский молод и кудряв. «У меня сын в Швейцарии, тоже иллюзионист, как его отец, как его дед, как все. Он говорит: папа, ты дурак, приезжай. Я говорю: а кому я это оставлю? Вы думаете, это вещи? Это судьба».

Гремит музыка, вразнобой тикают десятки часов, звенят колокольчики, блестит бронза, сверкают самовары. Все не так, как снаружи, где снег завалил крыльцо и на глазах заносит целый город, уводя к совсем стародавним временам, к поселению Медвежий Угол, на месте которого, при слиянии Волги с Которослью, встал Ярославль. Теперь «Медвежий угол» – гостиница, бывш. обкомовская, только так ее все и знают. По-прежнему полуанонимный вход, сиротский вестибюль с прилавком, филенка на беленых стенах, фужеры в серванте, смывной бачок с леской-нулевкой. Крупные хмурые женщины долго смотрят в паспорт и в лицо.

Иллюзионист делает пасс, стихают часы, смолкает музыка, приостанавливается время. «Конечно, я думал уехать, когда все ехали. Но я не мог ехать без этого, я остался и не жалею. Ко мне приходят. Жалко, что вы торопитесь, мы могли бы посидеть внизу, под иконой святого Вонифатия, это покровитель пьяниц. Под ним хорошо сидеть, вы можете спросить кого угодно, никто не скажет, что напился у Мостославского, выпил и покушал – это да».

На столе у входа разложены на продажу открытки, буклеты, сувениры. Вереница колокольчиков с разными рукоятками. «Выбирайте, – говорит Джон Григорьевич. – Все очень любят эти, с Георгием. Но есть на любой вкус. Есть даже с могоендовидом, если вы хоть немножко еврей. Почему странное сочетание? Вы знаете, что первые колокола были у евреев? Вот видите, не знали! Значит, вы не зря сюда приехали. Это судьба».

К Леонтьеву по Жиздре

Путь из Калуги в Оптину пустынь лежит через Козельск – всего километров семьдесят. Во времена Константина Леонтьева, проведенного в Оптиной четыре последних года жизни и принявшего там постриг, в коляске тянулись семь часов. Удобно было отправиться не сразу с утреннего поезда, а остановиться в гостинице «Рига» и выехать на следующий день. «Хозяйку зовут Елена Филипповна Давингоф, очень любезная и умная крещеная жидовка», – рекомендует Леонтьев.

Для него Оптина получалась возвращением на родину: он родился в Кудинове Мещовского уезда, километрах в шестидесяти от монастыря. Дуга между двумя точками Калужской губернии пролегла через Крымскую войну, Крит, Константинополь, Грецию, Балканы, Афон, не говоря о Петербурге и Москве. Что искал и нашел в средней полосе главный эстет русской культуры, красавец и сердцеед, обожатель восточной яркости, контрастов и страстей?

Путь из Калуги в Козельск – движение из александровской России в допетровскую Русь. Лучшие калужские кварталы умудрились застыть в классицизме – понадобится город кому-нибудь с тех пор, его бы перестроили основательно. Церкви мягких ампирных обводов – те же, которые побудили Гоголя (не Леонтьева!) в миг экстатического помрачения сравнить Калугу с Константинополем (вид с правого берега Оки). Из-за исламских аллюзий сравнение не слишком тиражировалось и не слишком развратило местных жителей. Они скромно гордятся Калугой, в которой крупное и пышное выглядит не вполне уместным: капитальный мост через Березуйский овраг, имперские арки Присутственных мест, длинные вычурные корпуса Гостиного двора, округлый Троицкий собор, усадьба Кологривовой с открыточными фонарями, дом Шамяля, где он прожил девять лет в почетном плену, пока не отбыл в хадж и не умер в Медине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.